



Полилог/Polylogos. 2013-2023

ISSN 2587-7011

URL - <http://polylogos-journal.ru>

Все права защищены

№ 1 Том 4. 2020

«Неподатливые структуры»: в поисках посттранзитологической парадигмы для постсоветского пространства

Летняков Денис Эдуардович

Институт философии РАН

Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

Аннотация

Статья представляет собой рецензию на книгу “Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Ed. by B. Magiar. Budapest-NY: CEU Press, 2019. 712 pp.”. В этом коллективном труде, вдохновителем которого стал венгерский политолог и социолог Б. Мадьяр, предпринимается попытка предложить новую исследовательскую оптику для понимания посткоммунистических режимов, основанную на анализе неформальных институтов и практик. Среди аналитических рамок, предлагаемых участниками сборника, – концепт «мафиозного государства», «патрональной политики», «кланового государства», «рентоориентированного режима» и т.д.

Ключевые слова: постсоветское пространство, посткоммунизм, мафиозное государство, неопатримониализм, коррупция, авторитаризм

Дата публикации: 24.06.2020

Ссылка для цитирования:

Летняков Д. Э. «Неподатливые структуры»: в поисках посттранзитологической парадигмы для постсоветского пространства // Полилог/Polylogos. – 2020. – Т. 4. – № 1. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110009757-4-1/>. DOI: 10.18254/S258770110009757-4

¹ Сегодня вряд ли кого-то можно удивить тезисом о кризисе транзитологии – концептуальной рамки, которая широко применялась к посткоммунистическим государствам сразу после распада СССР и Восточного блока. Уже с начала 2000-х гг. появляется целый ряд работ, содержащих вывод о конце парадигмы демократического транзита¹, в т.ч. влиятельная статья Т. Карозерса с одноименным названием². Однако разрыв с транзитологией подразумевает поиск какой-то теоретической альтернативы, а в этом вопросе академическое сообщество пока далеко от сколько-нибудь прочного консенсуса. Один из возможных вариантов посттранзитологической парадигмы для постсоветского пространства предлагают авторы рецензируемой монографии. Вместо прежнего энтузиазма по поводу разрыва с тоталитарным прошлым они приглашают читателя разделить с ними гораздо более пессимистичный взгляд на происходящее в посткоммунистическом мире, согласно которому распад СССР не повлек за собой становление принципиально иной политической реальности, несколько не приблизил постсоветские страны к либеральным демократиям Запада³. «Неподатливые структуры» (так можно перевести на русский язык первую часть названия книги) посттоталитарного государства не претерпели существенных изменений после 1991 г., а потому, по формулировке одного из авторов, изучение постсоветских режимов необходимо освободить «из прокрустова ложа теории демократии».

² В самой книге пять разделов, первый из которых задает концептуальную рамку для всего сборника, а остальные составляют главы, ориентированные, главным образом, на применение заданной методологии для анализа конкретных кейсов. Исходя из этого, целесообразно будет остановиться подробнее на первой части, как наиболее фундаментальной, а главы из разделов 2-5 рассмотреть выборочно и более конспективно.

³ Итак, в чем же суть «реконцептуализации посткоммунистических режимов», предлагаемых участниками книги? Она начинается с вводной статьи американского политолога Генри Хейла, согласно которому главная проблема большинства исследователей постсоветской политики состояла в том, что они оценивали даже наиболее авторитарные режимы в бывшем СССР с точки зрения их соответствия нормативному идеалу демократии. Анализируя узбекский или белорусский режим, ученые, пусть даже имплицитно, всегда задавали себе вопрос: а что не хватает этим странам, чтобы стать демократиями? Иначе говоря, вместо того, чтобы понять, как *реально функционируют* постсоветские режимы, академическое сообщество анализировало, «чем эти страны *могли бы быть*» (р.8). В таком контексте постсоветские режимы априори понимались как «переходные», а отдельные «эксцессы» в виде нарушения гражданских прав и свобод или системной коррупции рассматривались как временные проблемы. Но если мы хотим перестать заниматься “*wishful thinking*”, то необходима радикальная смена исследовательской оптики, а именно стоит сосредоточиться на неформальной сфере постсоветской политики – на институтах, практиках, властных сетях, «часто пронизывающих формальные институты и придающих им содержание, которое можно легко упустить из виду, если понимать формальный порядок вещей слишком буквально» (р. 6).

⁴ Сам Хейл является автором концепции «патрональной политики»⁴, и именно феномен патронализма (*patronalism*) является для него базовым

социальным контекстом, который задает особенности постсоветского политического развития. Патронализм можно определить как общественный порядок, «в котором индивиды организуют свои политические и экономические устремления, прежде всего, вокруг персонализированного обмена наградами и наказаниями, а не вокруг деперсонализированных абстрактных принципов, таких как политические убеждения, или других категоризаций, за которыми стоят большие группы людей, лично им неизвестные» (р. 8). Если говорить более конкретно, то патронализм может включать в себя самые разные практики и институты, от откровенно негативных (коррупция, nepotизм) до более морально-нейтральных, вроде функционирования сетей взаимной поддержки, состоящих из друзей и родственников.

⁵ В политической плоскости доминирование патрональных практик означает, среди прочего, существование внутри элитных групп разветвленной сети патрон-клиентских отношений. Соответственно, ключевое различие между постсоветскими странами будет состоять не в устройстве формальных институтов, а в конфигурации неформальных элитных сетей – выстроена ли патрональная «пирамида» вокруг одной фигуры или же мы имеем дело с рядом «соперничающих патрональных пирамид». В первом случае мы получим консолидированный авторитарный режим (нынешняя Россия, Азербайджан, почти вся Центральная Азия), во втором – политический процесс будет характеризоваться большей открытостью и неопределенностью (Украина, Молдова, Киргизия, Грузия, Армения). В таком ракурсе «цветные революции» и другие попытки реформирования постсоветских политических систем, которые часто воспринимаются как «движение к демократии» или наоборот – как «авторитарный откат», на деле являются не более чем процессом перегруппировки существующих патрон-клиентских сетей вследствие изменения внутриэлитного баланса сил, неприятия политическим классом фигуры преемника, предложенного уходящим лидером и пр.

⁶ Конечно, Генри Хейл в качестве автора предисловия появляется в книге совсем не случайно – большинство участников сборника вполне можно рассматривать как его интеллектуальных «союзников», которые развивают близкие ему идеи. Это замечание справедливо, например, в отношении концепции неопатримониализма, предлагаемой украинским исследователем Александром Фисуном. Термин «патримониализм» как антоним рациональной бюрократии стал активно использоваться в социальных науках после М. Вебера. Если идеальная модель бюрократии предполагает беспристрастность, господство формальных правил, подчинение управленца некой безличной структуре, отделение менеджера от того актива, которым он управляет, то патримониализм означает доминирование внутри правящего класса *личных* отношений клиентарного типа, равно как и ситуацию, в которой отсутствует четкое разделение приватной и публичной сферы. Неопатримониализм, как современная разновидность патримониализма, характеризуется сочетанием институтов современного государства (бюрократия, армия, суд, парламент) и ситуации, когда «правлящие группы рассматривают общество как свое частное владение, а выполнение публичных функций как легитимное средство для персонального обогащения» (р. 79). В основе неопатримониализма лежат патрон-клиентские отношения, а также принцип

персонализации власти – глава государства рассматривается как воплощение всей политической системы, который соединяет в своих руках контроль над формальными и неформальными элементами управления, другие же институты вторичны, они призваны всего лишь реализовывать политическую стратегию лидера.

7 Причина расцвета неопатримониальных практик в постсоветской Евразии и неудач процесса демократизации региона такова: если в странах Южной Европы и Латинской Америки, которые успешно перешли к демократии в рамках «третьей волны», к началу транзита уже был завершен процесс нацистроительства и формирования рациональной бюрократии, то в бывшем СССР демократизация началась до окончания соответствующих процессов. Все это создавало тесную связку между властью и собственностью, а также побуждало представителей правящего класса руководствоваться скорее клановыми, региональными и прочими партикуляристскими лояльностями вместо ориентации на общее благо.

8 Главные характеристики постсоветской неопатримониальной модели, по Фисуну, следующие: - образование класса рентоориентированных политических предпринимателей (*political entrepreneurs*). Соединение власти и собственности дает им возможность капитализировать свои административные позиции, т.е. использовать их для персонального обогащения; - использование государственно-административных ресурсов для подавления политической оппозиции и устранения экономических конкурентов правящих элитных групп; - ключевая роль патрон-клиентских отношений и связей в структурировании политико-экономического процесса. Принадлежность к определенному клану означает доступ к ресурсам, привилегиям и собственности.

9 Таким институты как многопартийная система, выборы, конституция и т.д. служат некоторым фасадом, подчиняясь на деле «патримониальной логике» функционирования, поэтому политическая система представляет собой не поле борьбы политико-идеологических альтернатив (идеологии – лишь симулякры), но место конкуренции различных фракций неопатримониальной бюрократии за свой кусок «общественного пирога».

10 Фисун выделяет несколько типов неопатримониализма на постсоветском пространстве: султанистский (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан), в котором правят лидеры с пожизненными и неограниченными полномочиями; олигархический (ельцинская Россия, Украина при Л. Кучме/В. Януковиче), для которого характерно образование страты влиятельных олигархических и/или региональных рентоориентированных акторов; бюрократический (Беларусь, путинская Россия), в котором существует суперпрезидентство, опирающееся на централизованную бюрократическую корпорацию. Отдельно Фисун говорит о неопатримониальной демократии (Украина, Молдова, Киргизия), которая соединяет реальную электоральную конкуренцию с ситуацией «захвата государства» (*state capture*) олигархами и рентоориентированным поведением элит.

11 Таким образом, Фисун вслед за Хейлом призывает отказаться от традиционной, ценностно-окрашенной дихотомии «демократия vs. авторитаризм», в рамках которой постсоветское пространство предстает полем битвы между

Добром и Злом – местом, где «хорошим» проевропейским и более демократичным режимам противостоят «плохие» автократы. В реальности главная проблема *всех* постсоветских стран состоит в отсутствии верховенства права и эффективного контроля за властью, в отчуждении элит от общества, в высоком уровне коррупции и доминировании неформальных практик управления.

¹² Еще один автор, вслед за Г. Хейлом, методологию которого, так или иначе, разделяет большинство участников книги, это ее редактор и главный вдохновитель Балинт Мадьяр. Венгерский политолог написал сразу три главы для сборника, в которых он ставит перед собой две связанные между собой задачи: (1) продемонстрировать неадекватность самого концептуального словаря, который имеется в распоряжении исследователей посткоммунистических режимов, поскольку этот язык описания изначально был создан для анализа политики в совершенно иной социокультурной и институциональной среде (на «развитом Западе»); (2) предложить новую аналитическую рамку для понимания посткоммунистических политий, для анализа политических акторов, институтов и процессов в этих режимах.

¹³ По Мадьяру, фундаментальное отличие современного Запада от остального мира состоит в строгом разграничении трех сфер общественной активности человека – политической, рыночной и собственно социальной (*communal*). Иначе говоря, человек не должен переносить свои личные привязанности и лояльности (семейную, дружескую, религиозную) на публичную сферу; он не имеет право превращать занятие административной должности в процесс получения личной выгоды и т.д. Такая установка позволила Западу создать за пределами приватной сферы формализованную, безличную социальную систему, основанную на власти закона. В случае же, если три указанные сферы недостаточно четко разведены, мы получаем ситуацию доминирования неформальных, личных отношений во всех сферах жизни общества. Часто такие отношения имеют тенденцию к организации в устойчивые патрон-клиентские сети, что и является характерной чертой большинства посткоммунистических стран. В патрональных обществах административные посты могут использоваться для личных целей («приватизация публичной власти»), формальные правила имеют второстепенное значение, а элиты в силу этого отличаются рентоориентированным поведением. В меньшей степени это касается ЦВЕ (кроме Румынии и Болгарии) и Балтии, в большей – постсоветских стран и некоторых республик бывшей Югославии (Албании, Македонии).

¹⁴ Общая установка Б. Мадьяра во многом схожа с той, что демонстрирует Г. Хейл. Мадьяр отмечает, что популярные в политологии понятия вроде «гибридного режима», «электорального авторитаризма», «нелиберальной демократии» и т.д. являются следствием бесперспективной попытки разместить посткоммунистические режимы на оси между демократией и диктатурой, *измеряя лишь политические институты*. Такой подход вольно или невольно продолжает транзитологическую оптику, приглашая нас думать, что посткоммунистические страны находятся в некотором промежуточном положении – они уже вышли из пункта под названием «Коммунистическая диктатура», но еще не прибыли в пункт «Либеральная демократия». На самом же деле посткоммунистические страны следуют *альтернативному вектору движения*. Следовательно, нам нужна

концептуальная рамка, которая не просто сделает акцент на отклонениях посткоммунистических стран от идеалов либеральной демократии, но обрисует глубинную (*underlying*) природу правящих элит, объяснит мотивы их действий и механизмы принятия решений в таких странах.

15 С этой целью Мадьяр предлагает свою концепцию «посткоммунистического мафиозного государства», которое он рассматривает как частный случай того, что Хейл называет «патрональной политикой». Венгерский политолог оговаривается, что термин «мафиозное государство» (*mafia state*) стоит понимать не как сугубо пейоративный, но и как вполне академический, отражающий внутреннюю суть такого рода режимов. Мафиозное государство обладает, по крайней мере, двумя фундаментальными характеристиками. Во-первых, здесь фактически устранена конкуренция различных патрон-клиентских сетей, и доминирует единственная пирамида во главе с главным патроном (как правило, им является президент страны). Мадьяр называет такую структуру правящего класса «*приемной политической семьей*» («приемной», поскольку она чаще всего не основывается на узах родства). При этом формальная властная иерархия в политической системе может не совпадать с реальным влиянием конкретного человека, обусловленной близостью к главному патрону, а отношения внутри элитной «пирамиды» основаны на персональной лояльности и могут скреплять различными типами личного знакомства – региональной общностью, этничностью, совместной службой в молодые годы и т.д. Во-вторых, в мафиозном государстве существует радикальное расхождение между декларируемыми элитой целями и ее реальными стремлениями, что грозит режиму делегитимацией и заставляет его прибегать к маскировке своих намерений. Типичный пример – это «антикоррупционные кампании», служащие средством воздействия на людей, которые по разным причинам стали неудобными для «приемной политической семьи», но в глазах неискушенного обывателя предстающие как реальная борьба властей с коррупцией. Ключевой *raison d'etre* государства, как его понимает политический класс – это увеличение финансового богатства «приемной политической семьи».

16 Итак, само по себе существование патрональных элитных сетей не делает государство «мафиозным». Оно становится таковым в случае, если одна из сетей занимает монополистическую позицию – подобно тому, как классическая мафия не дает другим группировкам хозяйничать на своей территории, так и “mafia state” вытесняет конкурентов «приемной политической семьи». Важно также, что мафиозным государством является не любая клептократия, но только «хищнический» (*predatory*) режим, где процветает централизованное рейдерство и системная коррупция, а государство управляется как «бизнес-предприятие» «приемной политической семьи».

17 В этой связи Мадьяр предлагает выделять три уровня коррупции: – бытовая коррупция (*petty corruption*). Присутствует во всех государствах, не имеет системного характера, возникает при каких-то разовых транзакциях; – «захват государства» олигархами и криминальным подпольем. В этом случае коррупция достигает высших этажей власти и приобретает регулярную основу, ей могут быть заражены целые государственные институты; – мафиозное государство. В нем политические акторы захватывают ключевые экономические активы, а

государственные институты действуют вместе как криминальная организация. Последнее проявляется, например, через избирательное применение правосудия или организованное рейдерство, которое осуществляется по согласованию с «первыми лицами» во властной иерархии (российскому читателю наверняка придут в голову многие подобные примеры от дела ЮКОСА до «Башнефти» или «Евросети»).

18 Принципиальная разница состоит в том, что во втором случае мы имеем дело с захватом государства мафиозными конгломератами «снизу», а в случае “mafia state” это происходит «сверху». Если классическая мафия – это «организованное криминальное подполье (underworld)», то в отношении мафиозного государства Мадьяр использует неологизм «upperworld», который можно по аналогии перевести как «надполье» (в смысле теневой надстройки над политической системой, которая позволяет использовать власть государства в интересах господствующей патрональной сети). Эта крайняя стадия развития коррупции возможна при условии монополизации власти одним политическим актором, подавлении им конкурентов и устранении системы сдержек и противовесов. Патрон контролирует экономические ресурсы, силовые структуры, а главным центром принятия решений в стране становится его «двор» – узкий круг приближенных на самой вершине «приемной политической семьи». В Венгрии, например, символом «двора» является VIP-ложа на футбольном стадионе в родном городе В. Орбана, куда имеют доступ только приближенные к премьеру люди (согласно Мадьяру, Венгрия после 2010 г. является единственным примером мафиозного государства в ЕС, а что касается постсоветского пространства, то здесь к этой категории относится Россия и большинство других суперпрезидентских республик).

19 Что касается ключевых игроков мафиозного государства, то таковыми являются «*полигархи*», которые обладают видимой политической властью и невидимой экономической (например, чиновники, имеющие тайную недвижимость и миллионные счета); «*олигархи*», имеющие видимую экономическую власть и невидимую политическую (в отличие от предпринимателя, действующего в условиях нормальной рыночной конкуренции, олигарх стремится использовать свое богатство для политического влияния, а политическое влияние для максимизации прибыли, активно прибегая к коррупционным схемам); «*минигархи*» (это олигархи на более низком, локальном уровне); «*коррупционные брокеры*» (выполняют функции, близкие к западным лоббистам, но действуют неформально); «*подставные лица*» (stooge), через которых полигархи владеют своим богатством или получают доступ к власти.

20 Таково краткое содержание первого раздела книги, что касается последующих ее частей, то, как отмечалось выше, они представляют собой попытки применить эту методологию к анализу посткоммунистических режимов. Так, в разделе, посвященном властным акторам, Михаил Минаков рассматривает процесс становления «кланового государства» в Украине из региональных групп советской номенклатуры (днепропетровская, харьковская, донецкая). После 1991 г. эти региональные кланы трансформировались в более стабильные по своей структуре «приемные политические семьи», на базе которых со временем возникли формальные структуры – политические партии, бизнес-корпорации,

медиа-холдинги и т.д. Такая элитная фрагментация привела к появлению в Украине «плюралистического авторитаризма», в котором существуют достаточно свободные медиа и парламент, большей открытостью отличается и политический процесс в целом. С другой стороны, доминирование неформальных практик в украинской политике привело к тому, что оба Майдана, 2004 и 2013-14 гг., вдохновляемые демократической повесткой, на деле обернулись лишь перегруппировкой кланов и патрональных сетей и не смогли преодолеть разрыв между формальными и неформальными институтами внутри политической системы.

²¹ В этом же разделе Владимир Ровда пытается применить концепцию «мафиозного государства» к лукашенковской Беларуси. Отмечая, что по некоторым признакам страна соответствует этому понятию (пренебрежение верховенством права, наступление на автономию наиболее важных социальных институтов, использование патерналистских ориентаций населения и т.д.), автор все-таки заключает, что Беларусь находится ближе к «бюрократической султанистской автократии», чем к «классическому» мафиозному государству» (р. 270).

²² Беларуси посвящена и глава из следующего раздела («Технологии и инструменты»), написанная Андреем Казакевичем. В ней автор описывает феномен белорусской «непартийной» политической системы, которая в этом аспекте представляет собой исключение среди посткоммунистических автократий. Формально в Беларуси существуют 15 партий, но организация власти на общенациональном и местном уровнях носит совершенно непартийный характер, в т.ч. это касается обеих палаты парламента. Казакевич показывает, что изначально такая ситуация была следствием целого ряда факторов, от слабости белорусской номенклатуры, которая после роспуска КПСС не смогла создать альтернативную политическую организацию, до обстоятельств прихода к власти А. Лукашенко, шедшего на выборы 1994 г. под популистскими лозунгами как «человек из народа» (в этой ситуации внепартийность была его осознанным выбором). В дальнейшем же сохранение непартийной системы стало осознанной стратегией белорусского президента – это позволяло избегать консолидации противников, сохраняло парламент слабым и дезорганизованным.

²³ В этом же третьем разделе Миклош Харати демонстрирует, каким образом «нелиберальные» режимы от Венгрии до Азербайджана используют медиа для сохранения своей власти. Современные инструменты подавления свободы слова Харати называет «Государственной цензурой 3.0», имея в виду, что исторически первой была предварительная цензура времен печатных медиа, затем ее сменила цензура тоталитарных диктатур XX в. с полным огосударствлением всех СМИ, нынешняя же цензура носит гибридный характер, как и сами эти режимы – она работает более тонко. Декларативно поддерживая свободу слова и признавая частную собственность в медиа сфере, «нелиберальные» режимы используют разные рычаги, позволяющие на деле эту свободу ограничить – от введения ограничений на владение СМИ для иностранцев, произвольного регулирования рекламного рынка (когда предпринимателям кулуарно объясняют, что лучше не размещать рекламу в оппозиционном издании) до прямого давления на журналистов, например, путем фабрикации уголовных дел. К сожалению,

российский читатель вряд ли найдет в этом списке ограничений что-то новое, не знакомое ему по отечественной практике.

²⁴ Любопытной показалась глава Думитру Минзарари, посвященная феномену протестной активности в авторитарных режимах (на примере российских протестов зимы 2011/12 гг.). Проблема для инкубентов в современных автократиях состоит в том, что открытые репрессии сегодня слишком «затратны», поскольку они подрывают легитимность власти как внутри страны, так и вовне. С другой стороны, для граждан нелиберальных государств участие в протестах тоже сопряжено с определенными издержками; это всегда риск, и потенциальным оппозиционерам приходится взвешивать доводы за и против вовлечения в активность такого рода. Все это создает препятствия для коллективного действия. При этом, чем больше людей выходит на улицу, тем более затратным для власти оказывается их силовое подавление и последующие репрессии. Конечно, всегда есть группа радикально настроенных граждан, готовых к риску в любой ситуации, но подлинный успех протестов – их способность подорвать политический статус-кво – зависит от основной массы умеренных, которые всегда колеблются. Следовательно, критически важный вопрос для сохранения режима состоит в том, чтобы не допустить по-настоящему массовых протестов, сделать так, чтобы оппозиционная активность не перешла определенную черту.

²⁵ По мнению Минзарари, ключевой инструмент «приручения» протеста заключается в возможности авторитарных режимов трансформировать общественные блага (public goods) в частные (private goods). Отличительная черта общественных благ – возможность их использования всеми членами общества в равной и неограниченной степени, поскольку «их потребление одним человеком не сокращает количество этих благ, доступных для потребления другими» (р. 399). Примером может быть национальная оборона, экология, отправление правосудия, доступ к работе и т.д. Превращая некоторые общественные блага в частные, автократии делают из них ресурс, доступный только лояльной части общества. Если говорить о такого рода превращении блага под названием «отправление правосудия», то достаточно вспомнить обстоятельства ведения судебных процессов по политическим делам в России. Другой пример – это доступ к работе. Российская экономика сегодня выстроена так, что едва ли не половина рабочих мест напрямую контролируется правительством. Сюда можно отнести и миллионные армии бюджетников, и работников многочисленных государственных корпораций, и даже сотрудников формально частных компаний в ключевых секторах экономики (энергетическом, финансовом, транспортном). Кроме того, не стоит забывать о всепроникающей роли российского государства, о его возможности оказывать давление фактически на любой бизнес. Все это включает отечественный средний класс, призванный быть драйвером протестной активности, в своеобразные патрон-клиентские отношения с государством, делает его зависимым от власти и увеличивает издержки от участия в оппозиционной деятельности. Возможность потерять работу или поставить крест на своей карьере из-за недостаточной политической лояльности совсем не выглядит фантастикой в нынешних российских реалиях.

26 Общий вывод автора состоит в том, что сами по себе экономические показатели мало что говорят о готовности страны к демократизации, поскольку нужно принимать во внимание и степень проникновения государства в экономику. Кроме того мы можем рассматривать значительное присутствие российского государства в экономике еще и как осознанную политическую стратегию, призванную не допустить создания слоя экономически независимых от государства людей, тем самым – затормозить процессы демократизации страны.

27 Четвертый раздел книги посвящен теме «богатства и собственности». Здесь можно выделить главу Андрея Рябова с анализом института «власти-собственности» на постсоветском пространстве. Коротко говоря, в рамках этого института собственность является производной от власти, государство становится главным агентом (пере)распределения собственности, любой актив может быть экспроприирован властями, а административная элита прямо или косвенно получает финансовую ренту от занятия своих должностей.

28 Хотя «власть-собственность» имеет достаточно давние корни (достаточно вспомнить вотчинный характер Московского государства), непосредственный исток этого явления на современном этапе следует искать в советской номенклатуре, поскольку именно коммунистический правящий класс, который несколько десятилетий монопольно распоряжался государственной собственностью в СССР, играл ведущую роль в постсоветском транзите. Сохранение номенклатурой контроля за государственной собственностью после 1991 г., дефицит управленческих навыков и способностей со стороны других социальных страт, отсутствие внятных правил игры в экономике и политике, неоформленность гражданского общества предопределили доминирование в новых независимых государствах кланов и групп интересов, которые действовали, мало сообразуясь с тем, что в классической политической теории принято именовать «общим благом».

29 Одно из наиболее негативных последствий «власти-собственности» заключается в том, что этот институт служит инструментом сохранения существующего статус-кво – влиятельные игроки в постсоветской политике не заинтересованы в реальных переменах, поэтому они блокируют любые институциональные реформы, рассматривая их как угрозу своим интересам. Главная цель постсоветских элит – это извлечение ренты (ресурсной, административной, бюджетной), поэтому суть политической борьбы состоит не в конкуренции «проектов будущего», а в соперничестве различных кланов за контроль над источниками ренты. В таких условиях крайне сложно появиться агентам модернизации и развития.

30 В свою очередь Илья Викторов сосредотачивается в своем анализе на феномене рейдерства, под которым понимаются различные формы недружественного поглощения бизнеса. Викторов показывает связь рейдерства с особенностями российской приватизации – слабостью государства, непрозрачными процедурами распределения собственности, разгулом организованной преступности. Все это сформировало весьма специфичную корпоративную культуру в России и сделало возможным различные незаконные формы перераспределения собственности. Если 1990-е гг. были периодом расцвета

«черного» рейдерства, которое часто происходило с открытым использованием криминальных структур, то на рубеже 1990-2000-х гг. мафиозные группы постепенно исчезают со сцены. Однако ниша «силового предпринимательства» не осталась вакантной – на смену криминалу пришли силовики, использующие квази-легальные процедуры рейдерства в целях личного обогащения (инициирование уголовных дел, процедур банкротства предприятий, обвинения в уклонении от уплаты налогов и т.д.). Таким образом, выдавливание из экономики криминалитета и олигархических групп обернулось не правлением закона (rule of law), но привело к использованию государственного аппарата принуждения и государственной монополии на насилие в личных интересах представителей силовой корпорации.

³¹ Заключительный раздел книги носит сравнительный характер. Здесь Алексей Пикулик рассматривает Беларусь, Россию и Украину в качестве примеров постсоветских рентоориентированных (rent-seeking) режимов. Автор определяет ренту как любые доходы, полученные без «прироста производственного сектора экономики» (р. 496). В случае России рентой является продукция добывающих отраслей (в первую очередь, конечно же, нефтегазовой), а для Украины и Беларуси рента – это различные формы дотаций от России (льготные кредиты, поставка энергоресурсов по сниженным ценам), а также плата за транзит на Запад углеводородов. В своем тексте Пикулик пытается, среди прочего, объяснить разные траектории развития этих стран после 1991 г. через особенности режимов извлечения ренты, доступа к ней различных акторов и т.д. Скажем, плотный контроль государства за притоком рентных потоков извне имеет шансы остановить политическую демократизацию, поскольку дает в руки инкумбента ресурсы, необходимые для укрепления своей социальной базы и подавления оппонентов. Кроме того, описанная ситуация создает экономическую «подушку безопасности» для режима, которая вряд ли будет побуждать его проводить болезненные экономические реформы. Таков, как можно догадаться, случай Беларуси, где режиму Лукашенко долгие годы удается поддерживать функционирование социального государства и сохранять определенное равновесие в условиях слабо реформированной экономики и авторитарного режима. Аналогичная ситуация (приток рентных потоков извне), но сопровождаемая борьбой за ресурсы со стороны влиятельных политико-экономических акторов, вероятно приведет к росту политической конкуренции и отодвинет сползание страны в чистую автократию. Так было в Украине, где доступ к перераспределению ренты получили олигархические кланы, что значительно усилило их, и не позволило никому из игроков получить «контрольный пакет».

³² Сара Чейс на примере Азербайджана, Молдовы и Кыргызстана анализирует ситуацию в странах, где коррупция представляет собой не просто отдельные случаи взяточничества, но является всеохватным феноменом, включающим в себя «целенаправленные (deliberated) практики одной или более [клептократических] сетей» (р. 508-509). Иначе говоря, речь идет *системной коррупции*, которая пронизывает все политические институты и властные отношения. Там, где коррупция является правилом, а не исключением, клептократические структуры не просто повышают транзакционные издержки, но «приводят в негодность ключевые элементы государственного функционирования

для того чтобы захватить важные каналы поступления доходов» (р. 508). Чейс демонстрирует, каким образом клептократические сети включают в себя правительственные структуры, как они переплетаются с частным сектором, с организованной преступностью и выходят за национальные границы, какие внешние и внутренние факторы обеспечивают функционирование системной коррупции. Такими факторами, кстати, может быть все, что угодно – скажем, в случае Азербайджана это заинтересованность Европы в источниках энергии, альтернативных российским, что заставляет западных политиков закрывать глаза на авторитарный и коррупционный характер правящего режима; в случае с Киргизией – ее имидж «единственной парламентской демократии» в Центральной Азии, побуждающий иностранные фонды к выдаче различных кредитов, грантов и прочих субсидий, которые в итоге становятся частью финансовой ренты для элиты.

³³ Наконец, венгерский экономист Кальман Мижей, обращаясь к Украине, Молдове и Грузии, анализирует устойчивость патрональной политики на постсоветском пространстве. Первые две страны рассматриваются как пример балансирования между двумя крайними точками – мафиозным государством и верховенством закона. Здесь инкумбентам (Л. Кучме/В. Януковичу и В. Воронину соответственно), с одной стороны, не удалось выстроить замкнутую на себя пирамиду патрон-клиентских отношений, соответствующих “mafia state”, но, с другой стороны, в силу половинчатости реформ, внутриэлитных противоречий, отсутствия политической воли, сращивания политических элит и криминала у Украины и Молдовы не получилось и сколько-нибудь существенно продвинуться по пути демонтажа патронализма. Показательна в этом смысле оценка украинских реформ после 2014 г., данная К. Мижеем – по его мнению, политический класс Украины хотел «провести изменения так, чтобы сделать настолько мало шагов навстречу требованиям иностранных доноров и гражданского общества, насколько это возможно, и заведомо избежать тех изменений, которые сделают необратимым переход к обществу, основанному на правовых нормах» (р. 591). В свою очередь, Грузия приводится в главе как пример страны, сумевшей, благодаря реформам М. Саакашвили, достичь наибольшего из всех постсоветских государств прогресса в деле демонтажа мафиозного государства и системной коррупции. При всей незавершенности грузинских реформ (например, судебная система и прокуратура так и не стали подлинно независимыми от президентской власти) их опыт показывает, что неопатримониализм не является фатальным для бывшего СССР, и при определенных условиях он может быть преодолен.

³⁴ Давая общую оценку прочитанной книге, хочется отметить следующее. Как и в любом большом сборнике здесь есть главы, привлекающие внимание, и те, которые вряд ли станут откровением для читателя (особенно российского); не со всеми суждениями и выводами можно соглашаться, а кроме того в тексте порой всплывают отдельные неточности (например, в одной из глав о Кыргызстане почему-то сказано, что эта «страна находится в процессе движения от автократии к диктатуре или возможно даже уже пересекла эту грань и стала откровенной диктатурой» – р. 44). Но свою главную задачу продвижения новой аналитической рамки для изучения посткоммунистических режимов книга, безусловно, выполняет. Предлагаемый коллективом авторов подход, в центре которого стоит

изучение неформальных структур и практик лично мне кажется достаточно продуктивным. Действительно было бы наивно пытаться некритически применять западные концепты для анализа постсоветской политики. К примеру, что нам дадут классические теории партийного строительства, государственного управления или политического участия для понимания молдавских реалий, если богатейший человек в этой стране имеет закулисные рычаги влияния на все ключевые институты государства, включая прокуратуру, Конституционный суд, парламентские фракции и т.д.?

³⁵ С другой стороны, в выбранной Б. Мадьяром и его коллегами исследовательской оптике можно видеть, по крайней мере, две проблемы. Во-первых, оперирование такими понятиями как «приемная политическая семья», «полигархи», «двор главного патрона», «внутренний круг» [приближенных] и т.д. заставляет ученого опираться в своем анализе на трудно верифицируемый материал. В своих крайних проявлениях все это может напоминать деятельность некоторых кремленологов времен «холодной войны», пытавшихся догадаться о реальном политическом влиянии членов Политбюро по их месту на трибуне Мавзолея. Другими словами, исследуя политическое «закулисье», крайне важно все-таки оставаться в русле научной методологии (замечу, что у авторов книги это получилось).

³⁶ Во-вторых, концепция патрональной политики в своей критике транзитологии склонна не замечать реальные режимные трансформации, произошедшие на постсоветском пространстве после 1991 г. В этом смысле показательно само название рецензируемой книги, которое указывает на то, что в центре ее внимания находятся «неподатливые» политические структуры, не поддающиеся изменениям и упрямо воспроизводящиеся на протяжении длительного времени; об этом же говорят и понятия, которые используют многие авторы сборника (вроде «неономенклатуры» Николая Петрова). Однако при всех возможных параллелях между советской номенклатурой и постсоветскими элитами, между ролью КГБ и ФСБ, между плановой экономикой и нынешней «распределительной», нельзя не признать, что режимы, функционирующие в постсоветской Евразии, сильно отличаются по своей природе от того, что существовал в СССР. Последний представлял собой однопартийную идеократию, стремившуюся контролировать все стороны жизни общества. Опорой же постсоветских режимом выступает не сросшаяся с государством партия, а бюрократия, объединенная системой патрон-клиентских отношений. Главный ресурс легитимности постсоветских элит – не апелляция к «единственно верному учению», а выборность (пусть даже номинальная) ключевых фигур в политической системе. Наконец, нынешние режимы безыдеологичны и вместо принудительной политической мобилизации опираются в значительной степени на деполитизацию населения. Иными словами, несмотря на сохранение после 1991 г. некоторых прежних институтов и практик управления (в т.ч. неформальных), в постсоветских государствах существенно модифицировались правила игры внутри политической системы и инструменты удержания власти в руках элит, а в ряде случаев поменялась и констелляция самих элитных групп. Все это говорит о *состоявшейся трансформации режима*, хотя это и был переход не от авторитаризма к демократии, а от одного типа авторитаризма к другому.

37 Тем не менее, высказанные соображения трудно назвать критическими, скорее это своеобразные «замечания на полях». Вполне можно согласиться с Г. Хейлом в том, что рецензируемый сборник «углубляет наше понимание посткоммунистических политик» (р. 16), а значит, он может быть смело рекомендован для прочтения всем, интересующимся проблемами посткоммунизма.

Примечания:

1. Капустин Б.Г. Конец “транзитологии”? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Полис. 2001. № 4. С. 6-26; Mandel R. Transition to Where? Developing Post-Soviet Space // Slavic Review. 2012. Vol. 71, N 2. P. 223-233; Ачкасов В.А. Транзитология – научная теория или идеологический конструкт? // Полис. 2015. №1. С. 30-37.

2. Carothers T. End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. No. 1. Pp. 5-21.

3. Участники сборника часто пользуются понятиями «посткоммунизм»/«посткоммунистические режимы», которые шире, чем дефиниция «постсоветское пространство», т.к. они включают в себя также страны бывшего Варшавского договора. При этом среди государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) откровенный разрыв с принципами либеральной демократии демонстрирует лишь сегодняшняя Венгрия, да и подавляющее большинство глав в книге посвящено все-таки бывшему СССР. Таким образом, правильнее будет сказать, что в фокусе авторов находятся постсоветские, а не посткоммунистические страны.

4. Hale H. Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. NY: Cambridge University Press, 2015. 538 p.

Библиография:

1. Ачкасов В.А. Транзитология – научная теория или идеологический конструкт? // Полис. 2015. №1. С. 30-37.

2. Капустин Б.Г. Конец “транзитологии”? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Полис. 2001. № 4. С. 6-26.

3. Carothers T. End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. No. 1. Pp. 5-21.

4. Hale H. Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. NY: Cambridge University Press, 2015. 538 p.

5. Mandel R. Transition to Where? Developing Post-Soviet Space // Slavic Review. 2012. Vol. 71. No. 2. Pp. 223-233.

“Intractable Structures”: In Search of a Post-Transitological Paradigm for the Post-Soviet Space

Denis Letnyakov

RAS Institute of Philosophy

Moscow, 12/1 Goncharnaya Str., 109240, Russian Federation

Abstract

This article is a review of the book “Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Ed. by B. Magiar. Budapest-NY: CEU Press, 2019.712 pp. ”. This collective work, inspired by the Hungarian political scientist and sociologist Balint Magyar, attempts to propose new research optics for understanding post-communist regimes, based on an analysis of informal institutions and practices. Among the analytical frameworks proposed by the participants of the collection are the concepts of “mafia state”, “patronage policy”, “clan state”, “rent-oriented regime”, etc.

Keywords: post-Soviet space, post-communism, mafia state, neopatrimonialism, corruption, authoritarianism

Date of publication: 24.06.2020

Citation link:

Letnyakov D. “Intractable Structures”: In Search of a Post-Transitological Paradigm for the Post-Soviet Space // Polylogos. – 2020. – V. 4. – № 1. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110009757-4-1/>. DOI: 10.18254/S258770110009757-4

Код пользователя: 0; Дата выгрузки: 01.06.2023; URL - <http://polylogos-journal.ru/s258770110009757-4-1/> Все права защищены.